

1929 – ?

Из этих парных дат вторая
Мне опротивела давно.
Ее узнать, не умирая,
По-видимому, не дано.

Не вижу я большой удачи
В раскрыть точной цифры дня,
Но этой мелочью богаче
Все, кто переживет меня.

Весной 2016-го мне выпали счастье и честь пять дней разговаривать с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в Лос-Анджелесе, где он преподавал в университете. После первого дня он как-то по-детски сказал: “А знаете, мне редко задают такие вопросы, никто не спрашивает меня про меня, все больше про среду и мироздание”. И все же, когда в апреле 2017 года фильм “И Бог ночует между строк”, названный мною строкой из его стихотворения, вышел на канале “Культура”, он написал мне письмо — выделил 4-ю серию, именно ту, где, по его выражению, удалось “сделать общедоступными мои главные мысли”. Привожу из этого письма то, что считаю возможным:

Себя самого ощущаю больше всего в последней части... Из знакомых некоторые призадумались по поводу ужаса эпохи в целом, даже те, чьи жизни явно искажены всем испытанным.

Мы простились с ним на берегу Тихого океана, где он под шум волн читал, подражая голосу Пастернака, его стихи и рассказывал о самом счастливом и самом страшном своем дне. Мы заканчивали наш разговор. Я сказала: может быть, вы что-то сами хотите добавить, о чем я не спросила. Он задумчиво произнес: “Ну, какой вывод я могу сделать из своей жизни...” Я даже испугалась: это был тот самый вопрос, который я собиралась задать ему здесь, у океана, но забыла.

Вот если я о себе самом думаю, есть ли какой-нибудь вывод? Человеку что-то удается понять и сделать в жизни в большой степени в зависимости от количества и качества трудностей, с которыми он сталкивается. Если таких трудностей нет, я думаю, при любом даровании и при любом замечательном окружении все-таки не все получается. В этом смысле мне очень повезло. Я с детства был болен тяжелой хронической болезнью, изменившей характер моего воспитания и образования. Я жил в таком «замечательном» государстве, которое во многих отношениях резко отличается от того, что в других странах досталось людям, и в той среде, которую я пытаюсь продолжить, понимая, как мало от нее остается к двадцать первому веку.

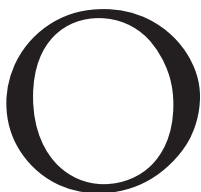
Я буду помнить его таким: в профессорском вельветовом пиджаке с заплатами на локтях и элегантном лиловом шарфе, подобранном его женой Светланой. В августе шестнадцатого я поздравляла его с днем рождения, и он написал: “Надеюсь все-таки приехать весной”. Как всегда — в родное Переделкино.

Он от нас и не уезжал.

ЕЛЕНА ЯКОВИЧ

*И Бог ночует
между строк*

Вячеслав Всеволодович Иванов
в фильме Елены Якович



Океан я очень люблю. Люблю вообще море даже, но океан особенно люблю. И летал над большими океанами, вот над этим Тихим океаном тоже.

В океане есть то, что мы называем ученым термином “турбулентность”, то есть непрерывные поводы для каких-то огромных перемещений, сдвигов, потом катастроф. Турбулентность, с которой мы сталкиваемся постоянно, делает очень трудными предсказания погоды или политических событий. Но для меня как для ученого, занятого древним миром, есть еще новая сторона океана, которая скажется в будущем. Судя по всему, что мы сейчас узнаём благодаря открытиям генетиков, вероятно, большая часть истории человечества должна быть понята на дне Мирового океана, куда ушли не одна, наверное, Атлантида, а много цивилизаций. Похоже, что люди из Африки расселялись по другим континентам главным образом вдоль берегов, вдоль побережья. Но потом эти суда затонули. Если бы человечество было занято интересными задачами, а не уничтожением отдельных своих частей — если не всего себя, — если бы человечество было умнее, я думаю, сейчас бы кинулись изучать дно океана. Но не очень надеюсь, что я доживу до времени, когда этим займутся. Конечно, займутся.

У нас в России под ногами — Черное море, где, условно, была очень напряженная жизнь до того, что называлось мировым или всемирным потопом. Этот всемирный потоп затопил несколько тогдашних больших цивилизаций. Мы сейчас знаем, что это случилось семь тысяч лет назад. Я имею даже отношение к тем, кто пытается восстановить это время. Но я думаю, что найдется способ поднять эти драгоценности со дна морского. Ну, может быть, доживем до XXII века с этими надеждами.

Я бы вам напомнил стихи Пастернака, первое четверостишие в его замечательном обращении к морю. Он рос недалеко от моря, его привозили как раз к Черному морю родители в детстве.

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Мы имеем здесь дело с каким-то другим пониманием пространства и времени. Я думаю, что этим замечательно море, океан — мы перестаем быть ограниченными нашими человеческими, животными рамками, начинаем видеть мир в каких-то настоящих, других измерениях.

Комой меня назвала мама, потому что я с самого рождения был шарообразен, скажем так, то есть всегда предпочитал круглую форму. “Я с детства не любил овал...” Как комок снега. Она всегда именно это сравнение приводила. В общем, никак не удавалось отвязаться от этого имени. Потом даже в КГБ, когда они других людей расспрашивали, они обычно говорили обо мне как о Комере. Я очень возмущался. Им уж я никаких прав не давал!

Я помню себя примерно с двух, может быть, с трех лет, хотя есть какие-то кадры в памяти, которые у меня как-то не укладываются даже в эти временные параметры. То есть я начинаю думать, что, может быть, я помню что-то, что не полагается людям помнить, — с раннего совсем возраста. Например, помню, что попробовал на даче, как можно плавать, и чуть было не утонул, но, на счастье, двоюродная сестра Нина Зиллер спасла. Меня уже тогда простор воды очень привлекал. Как потом взрослые говорили, я любил крик “купаться”, но при этом обычно начальное “к” произносил как “п”, получалось “пупаться”. И вот с этим боевым кличем “пупаться” я полез в Москва-реку, моя двоюродная сестра потеряла меня из виду и выгребла, ну, если не со дна реки, то, во всяком случае, когда дело было уже плохо.

Я еще несколько раз в жизни тонул. Я имею в виду — не метафорически. Но каждый раз как-то удавалось вынырнуть.

Помню себя вместе с родителями — в довольно неприятной обстановке. Мы лето, по-видимому 1933-го, когда мне три года, проводили в таких специальных уголках НКВД. Отец мой был очень близок с Максимом Горьким, а Горький поддерживал всяческие проекты разного рода перевоспитания преступников. И были такие колонии перевоспитания. В частности, в Горьковском крае (так уже с тридцать второго года именовали Нижегородские земли) ими руководил человек, которого я по своему детству помню с уменьшительным именем — Мотя Погребинский. Этот Мотя покончил с собой в апреле 1937 года, написав письмо Сталину, личное письмо, о том, что по вине Сталина он вынужден сейчас заниматься тем, что арестовывает достойных людей. Так вот, представьте, этот Мотя, поскольку он заведовал уголками НКВД, пригласил моих родителей провести там лето. С этими местами связано одно из первых детских воспоминаний: меня клюнула курица в губу, и мама моя очень волновалась, что курица может быть бешеная, хотя ей внушали тамошние ветеринары, что не бывает у кур человеческого или собачьего бешенства.

Родители брали меня на какие-то званые приемы к Горькому. Это напротив Николиной Горы такой дворец, который потом, при Хрущеве, был для приемов иностранцев, и там, по-моему, Твардовский читал Хрущеву свою поэму “Тёркин на том свете”... И меня предупредили, чтобы я не бегал по второму этажу, потому что там кабинет Горького. И конечно, я побежал, и помню, что меня вытащили из его ярко освещенного кабинета.

И самого Горького тоже помню. Понимаете, мне три года. Он нас провожает, он стоит у входа в этот огромный дворец, и мне кажется, что он гигантского роста. Рядом с ним горшок, из которого растет, я думаю, фиговое дерево или пальма. И она мне кажется очень маленькой по сравнению с этим огромным худым человеком. Я помню, у него был юбилей, и мы с братом нарисовали ему подарки цветными карандашами. А он нам ответил письмом. Представьте, в переписке Горького есть его письмо моему брату Мише и мне. Ничего не понял старик в том, что мы для него изобразили. Я рисовал нашего цепного пса на цепи, а он пишет “какой у тебя получился замечательный дьявол с кренделечком”.



Я родился в Москве, как и мама моя — Тамара Владимировна Иванова. Она стала Ивановой из Кашириной. Урожденная москвичка, хотя ее предки пришли из Новгородской области, они были крепостные крестьяне, получившие свободу. Пришли в лаптях и стали потом владельцами текстильной фабрики. Интересно, что Горький тоже из Кашириных: это фамилия деда и матери его, они потом разбирались, выяснили, что это какие-то другие нижегородские Каширины, не имеющие отношения к нашему роду. Отец мой, писатель Всеволод Вячеславович Иванов, наоборот, был человек со скитальческой жизнью. Отчасти поэтому Горький его оценил — потому что отец мой тоже прошел через этап такого бродяжничества, как молодой Горький. Он исходил всю азиатскую часть России, он родом из Западной Сибири. И в устной речи сохранял черты сибирского диалекта.